

Сказка Гофмана Крошка Цахес, по прозванию Циннобер

(главы 1–2)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Маленький оборотень. - Великая опасность, грозившая пасторскому носу. - Как князь Пафнутий насаждал в своей стране просвещение, а фея Розабельверде попала в приют для благородных девиц.

Недалеко от приветливой деревушки, у самой дороги, на раскаленной солнечным зноем земле лежала бедная, оборванная крестьянка. Мучимая голодом, томимая жаждой, совсем изнемогшая, несчастная упала под тяжестью корзины, набитой доверху хворостом, который она с трудом насобираала в лесу, и так как она едва могла перевести дух, то и вздумалось ей, что пришла смерть и настал конец ее неутешному горю. Все же вскоре она собралась с силами, распустила веревки, которыми была привязана к ее спине корзина, и медленно перетаскилась на случившуюся вблизи лужайку. Тут принялась она громко сетовать.

– Неужто, – жаловалась она, – неужто только я да бедняга муж мой должны сносить все беды и напасти? Разве не одни мы во всей деревне живем в непрестанной нищете, хотя и трудимся до седьмого пота, а добываем едва-едва, чтоб утолить голод? Года три назад, когда муж, перекапывая сад, нашел в земле золотые монеты, мы и впрямь возомнили, что наконец-то счастье завернуло к нам и пойдут беспечальные дни. А что вышло? Деньги украли воры, дом и овин сгорели дотла, хлеба в поле градом побило, и – дабы мера нашего горя была исполнена – бог наказал нас этим маленьким оборотнем, что родила я на стыд и посмешище всей деревне. Ко дню святого Лаврентия малому минуло два с половиной года, а он все еще не владеет своими паучьими ножонками и, вместо того чтоб говорить, только мурлыкает и мяучит, словно кошка. А жрет окаянный уродец словно восьмилетний здоровяк, да только все это ему впрок нейдет. Боже, смилостивись ты над ним и над нами! Неужто принуждены мы кормить и растить мальчонку себе на муку и нужду еще горшую; день ото дня малыш будет есть и пить все больше, а работать вовек не станет. Нет, нет, снести этого не в силах ни один человек! Ах, когда б мне только умереть! – И тут несчастная принялась плакать и стенать до тех пор, пока горе не одолело ее совсем и она, обессилив, заснула. Бедная женщина по справедливости могла плакаться на мерзкого уродца, которого родила два с половиной года назад. То, что с первого взгляда можно было вполне принять за дикий обрубок корявого дерева, на самом деле был уродливый, не выше двух пядей ростом, ребенок, лежавший поперек корзины, – теперь он выполз из нее и с ворчанием копошился в траве. Голова глубоко ушла в плечи, на месте спины торчал нарост, похожий на тыкву, а сразу от груди шли ножки, тонкие, как прутья орешника, так что весь он напоминал раздвоенную редьку. Незоркий глаз не различил бы лица, но, вглядевшись попристальнее, можно было приметить длинный острый нос, выдававшийся из-под черных спутанных волос, да маленькие черные искрящиеся глазенки, – что вместе с морщинистыми, совсем старческими чертами лица, казалось, обличало маленького альрауна.

И вот когда, как сказано, измученная горем женщина погрузилась в глубокий сон, а сынок ее привалился к ней, случилось, что фрейлейн фон Розеншен – канонисса близлежащего приюта для благородных девиц – возвращалась той дорогой с прогулки. Она остановилась, и представившееся ей бедственное зрелище весьма ее тронуло, ибо она от природы была добра и сострадательна.

– Праведное небо, – воскликнула она, – сколько нужды и горя на этом свете! Бедная, несчастная женщина! Я знаю, она чуть жива, ибо работает свьше сил; голод и забота подкосили ее. Теперь только почувствовала я свою нищету и бессилие! Ах, когда б могла я помочь так, как хотела! Однако все, что у меня осталось, те немногие дары, которые враждебный рок не смог ни похитить, ни разрушить, все, что еще подвластно мне, я хочу твердо и не ложно употребить на то, чтоб отвратить беду. Деньги, будь они у меня, тебе, бедняжка, не помогли бы, а быть может, еще ухудшили бы твою участь. Тебе и твоему мужу, вам обоим, богатство не суждено, а кому оно не суждено, у того золото уплывает из кармана он и сам не знает как. Оно причиняет ему только новые горести, и, чем больше перепадает ему, тем беднее он становится. Но я знаю – больше, чем всякая нужда, больше, чем всяческая бедность, гложет твоё сердце, что ты родила это крошечное чудовище, которое, словно тяжкое злоеющее ярмо, принуждена нести всю жизнь. Высоким, красивым, сильным, разумным этот мальчик никогда не станет, но, быть может, ему удастся помочь иным образом.

Тут фрейлейн опустила на траву и взяла малыша на колени. Злой уродец барахтался и упирался, ворчал и норовил укусить фрейлейн за палец, но она сказала:

– Успокойся, успокойся, майский жучок! – и стала тихо и нежно гладить его по голове, проводя ладонью ото лба к затылку. И мало-помалу всклокоченные волосы малыша разгладились, разделились пробором, плотными прядями легли вокруг лба, мягкими локонами упали на торчащие торчком плечи и тыквообразную спину. Малыш становился все спокойнее и наконец крепко уснул. Тогда фрейлейн Розеншен осторожно положила его на траву рядом с матерью, опрыскала ее душистым спиртом из нюхательного флакона и поспешно удалилась. Пробудившись вскоре, женщина почувствовала, что чудесным образом окрепла и посвежела. Ей казалось, будто она плотно пообедала и пропустила добрый глоток вина.

– Эге, – воскликнула она, – сколько отрады и бодрости принес мне короткий сон. Однако солнце на закате – пора домой! – Тут она собралась взвалить на плечи корзину, но, заглянув в нее, хватилась малыша, который в тот же миг поднялся из травы и жалобно захныкал. Посмотрев на него, мать всплеснула руками от изумления и воскликнула:

– Цахес, крошка Цахес, да кто же это так красиво расчесал тебе волосы? Цахес, крошка Цахес, как пошли бы тебе эти локоны, когда б ты не был таким мерзким уродом! Ну, поди сюда, поди, – лезь в корзину. – Она хотела схватить его и положить на хворост, но крошка Цахес стал отбрыкиваться и весьма внятно промяукал:

– Мне неохота!

– Цахес, крошка Цахес! – не помня себя закричала женщина. – Да кто же это научил тебя говорить? Ну, коли ты так хорошо причесан, так славно говоришь, то уж, верно, можешь и бегать? – Она взвалила на спину корзину, крошка Цахес вцепился в ее передник, и так они пошли в деревню.

Им надо было пройти мимо пасторского дома, и случилось так, что пастор стоял в дверях со своим младшим сыном, пригожим, золотокудым трехлетним мальчуганом. Завидев женщину, тащившуюся с тяжелой корзиной, и крошку Цахеса, повисшего на ее переднике, пастор встретил ее восклицанием:

– Добрый вечер, фрау Лиза! Как поживаете? Уж больно тяжелая у вас ноша, вы ведь едва идете. Присядьте и отдохните на этой вот скамейке, я скажу служанке, чтобы вам подали напиток!

Фрау Лиза не заставила себя упрашивать, опустила корзину наземь и едва раскрыла рот, чтобы пожаловаться почтенному господину на свое горе, как от резкого ее движения крошка Цахес потерял равновесие и упал пастору под ноги. Тот поспешно наклонился, поднял малыша и сказал:

– Ба, фрау Лиза, фрау Лиза, да какой у вас премиленький пригожий мальчик. Поистине это благословение божие, кому ниспослан столь дивный, прекрасный ребенок! – И, взяв малыша на руки, стал ласкать его, казалось, вовсе не замечая, что злонравный карлик прегадко ворчит и мяукает и даже ловчится укусить почтенного господина за нос. Но фрау Лиза, совершенно озадаченная, стояла перед священником, таращила на него застывшие от изумления глаза и не знала, что и подумать.

– Ах, дорогой господин пастор, – наконец завела она плаксивым голосом, – вам, служителю бога, грех насмехаться над бедной, злосчастной женщиной, которую неведомо за что покарали небеса, послав ей этого мерзкого оборотня.

– Что за вздор, – с большой серьезностью возразил священник, – что за вздор несете вы, любезная фрау Лиза! "Насмехаться", "оборотень", "кара небес"! Я совсем не понимаю вас и знаю только, что вы, должно быть, совсем ослепли, ежели не от всего сердца любите вашего прелестного сына! Поцелуй меня, послушный мальчик! – Пастор ласкал малыша, но Цахес ворчал: "Мне неохота!" – и опять норовил ухватить его за нос.

– Вот злая тварь! – вскричала с перепугу фрау Лиза.

Но в тот же миг заговорил сын пастора:

– Ах, милый отец, ты столь добр, столь ласков с детьми, что верно, все они тебя сердечно любят!

– Послушайте только, – воскликнул пастор, засверкав глазами от радости, – послушайте только, фрау Лиза, этого прелестного, разумного мальчика, вашего милого Цахеса, что так нелюб вам. Я уже замечаю, что вы никогда не будете им довольны, как бы ни был он умен и красив. Вот что, фрау Лиза, отдайте-ка мне вашего многообещающего малыша на попечение и воспитание. При вашей тяжкой бедности он

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

для вас только обуза, а мне будет в радость воспитать его, как своего родного сына!

Фрау Лиза никак не могла прийти в себя от изумления и все восклицала:

– Ах, дорогой господин пастор, неужто вы и впрямь не шутите и хотите взять к себе маленького уроды, воспитать его и избавить меня от всех горестей, что доставил мне этот оборотень!

Но чем больше расписывала фрау Лиза отвратительное безобразие своего альрауна, тем с большей горячностью уверял ее пастор, что она в безумном своем ослеплении не заслужила столь драгоценного дара, благословения небес, ниспославших ей дивного мальчика, и наконец, распалившись гневом, с крошкой Цахесом на руках вбежал в дом и запер за собой дверь на засов.

Словно окаменев, стояла фрау Лиза перед дверьми пасторского дома и не знала, что ей обо всем этом и думать. "Что же это, господа, – рассуждала она сама с собой, – стряслось с нашим почтенным пастором, с чего это ему так сильно полюбился крошка Цахес и он принимает этого глупого карапуза за красивого и разумного мальчика? Ну, да поможет бог доброму господину, он снял бремя с моих плеч и взвалил его на себя, пусть поглядит, каково–то его нести! Эге, как легка стала корзина, с тех пор как не сидит в ней крошка Цахес, а с ним – и тяжкая забота!"

И тут фрау Лиза, взвалив корзину на спину, весело и беспечно пошла своим путем.

Что же касается канониссы фон Розеншен или, как она еще называла себя, Розенгрюншен, то ты, благосклонный читатель, – когда бы и вздумалось мне еще до поры до времени помолчать, – все же бы догадался, что тут было сокрыто какое–то особое обстоятельство. Ибо то, что добросердечный пастор почел крошку Цахеса красивым и умным и принял, как родного сына, объясняется не чем иным, как таинственным воздействием ее рук, погладивших малыша по голове и расчесавших ему волосы. Однако, любезный читатель, невзирая на твою глубочайшую прозорливость, ты все же можешь впасть в заблуждение или, к великому ущербу для нашего повествования, перескочить через множество страниц, чтобы поскорее разузнать об этой таинственной канониссе; поэтому уж лучше я сам без промедления расскажу тебе все, что знаю сам об этой достойной даме.

Фрейлейн фон Розеншен была высокого роста, наделена благородной, величественной осанкой и несколько горделивой властью. Ее лицо, хотя его и можно было назвать совершенно прекрасным, особенно когда она, по своему обыкновению, устремляла вперед строгий, неподвижный взор, все же производило какое–то странное, почти зловещее впечатление, что следовало прежде всего приписать необычной странной складке между бровей, относительно чего толком не известно, дозвоительно ли канониссам носить на челе нечто подобное; но притом часто в ее взоре, преимущественно в ту пору, когда цветут розы и стоит ясная погода, светилась такая приветливость и благоволение, что каждый чувствовал себя во власти сладостного, непреодолимого очарования.

Когда я в первый и последний раз имел удовольствие видеть эту даму, то она, судя по внешности, была в совершеннейшем расцвете лет и достигла зенита, и я полагал, что на мою долю выпало великое счастье увидеть ее как раз на этой поворотной точке и даже некоторым образом утешиться ее дивной красоты, которая очень скоро могла исчезнуть. Я был в заблуждении. Деревенские старожилы уверяли, что они знают эту благородную госпожу с тех пор, как помнят себя, и что она никогда не меняла своего облика, не была ни старше, ни моложе, ни дурнее, ни красивее, чем теперь. По–видимому, время не имело над ней власти, и уже одно это могло показаться удивительным. Но тут добавлялись и различные иные обстоятельства, которые всякого, по зрелому размышлению, повергали в такое замешательство, что под конец он совершенно терялся в догадках.

Во–первых, весьма явственно обнаруживалось родство фрейлейн Розеншен с цветами, имя коих она носила. Ибо не только во всем свете не было человека, который умел бы, подобно ей, выращивать столь великолепные тысячелестковые розы, но стоило ей воткнуть в землю какой–нибудь иссохший, колючий прут, как на нем пышно и в изобилии начинали произрастать эти цветы. К тому же было доподлинно известно, что во время уединенных прогулок в лесу фрейлейн громко беседует с какими–то чудесными голосами, верно исходившими из деревьев, кустов, родников и ручьев. И однажды некий молодой стрелок даже подсмотрел, как она стояла в лесной чаще, а вокруг нее порхали и ласкались к ней редкостные, не виданные в этой стране птицы с пестрыми, сверкающими перьями и, казалось, весело щебеча и распевая, поведывали ей различные забавные истории, отчего она радостно смеялась. Все это привлекло к себе внимание окрестных жителей вскоре же после того, как фрейлейн фон Розеншен поступила в приют для благородных девиц. Ее приняли туда по повелению князя; а посему барон Претекстатус фон Мондшейн, владелец поместья, по соседству с коим находился приют и где он был попечителем, против этого ничего не мог возразить, несмотря на то что его обуревали ужаснейшие сомнения. Напрасны были его усердные поиски фамилии Розенгрюншен в "Книге турниров" Рикснера и в других хрониках. На этом основании он справедливо мог усомниться в правах на поступление в приют девицы, которая не могла представить родословной в тридцать два предка, и наконец, совсем сокрушенный, со слезами на глазах просил ее, заклиная небом, по крайности, называть себя не Розенгрюншен, а Розеншен, ибо в этом имени заключен хоть некоторый смысл и тут можно сыскать хоть какого–нибудь предка. Она согласилась ему в угод. Быть может, разобитый Претекстатус так или иначе обнаружил свою досаду на девицу без предков и подал тем повод к злым толкам, которые все больше и больше разносились по деревне. К тем волшебным разговорам в лесу, от коих, впрочем, не было особой беды, прибавились различные подозрительные обстоятельства; молва о них шла из уст в уста и представляла истинное существо фрейлейн в свете весьма двусмысленном. Тетушка Анна, жена старосты, не обинуясь, уверяла, что всякий раз, когда фрейлейн, высунувшись из окошка, крепко чихнет, по всей деревне скисает молоко. Едва это подтвердилось, как стряслось самое ужасное. Михель, учительский сын, лакомился на приютской кухне жареным картофелем и был застигнут фрейлейн, которая, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Рот у паренька так и остался разинутым, словно в нем застряла горячая жареная картофелина, и с той поры он принужден был носить широкополую шляпу, а то дождь лил бы бедняге прямо в глотку. Вскоре почти все убедились, что фрейлейн умеет заговаривать огонь и воду, вызывать бурю и град, насыпать колтун и тому подобное, и никто не сомневался в рассказях пастуха, будто он в полночь с ужасом и трепетом видел, как фрейлейн носилась по воздуху на помеле, а впереди ее летел преогромный жук, и синее пламя полыхало меж его рогов!

И вот все пришло в волнение, все ополчились на ведьму, а деревенский суд порешил ни много ни мало, как выманить фрейлейн из приюта и бросить в воду, дабы она прошла положенное для ведьмы испытание. Барон Претекстатус не восставал против этого и, улыбаясь, говорил про себя: "Так–то вот и бывает с простыми людьми, без предков, которые не столь древнего и знатного происхождения, как Мондшейн". Фрейлейн, извещенная о грозящей опасности, бежала в княжескую резиденцию, вскоре после чего барон Претекстатус получил от владетельного князя кабинетский указ, посредством коего до сведения барона доводилось, что ведьм не бывает, и повелевалось за дерзостное любопытство зреть, сколь искусны в плавании благородные приютские девицы, деревенских судей заточить в башню, остальным же крестьянам, а также их женам, под страхом чувствительного телесного наказания, объявить, чтобы они не смели думать о фрейлейн Розеншен ничего дурного. Они образумились, утрастились грозящего наказания и впредь стали думать о фрейлейн только хорошее, что возымело благотворнейшие последствия для обеих сторон – как для деревни, так и для фрейлейн Розеншен.

Кабинету князя доподлинно было известно, что девица фон Розеншен не кто иная, как знаменитая, прославленная на весь свет фея Розабельверде. Дело обстояло следующим образом.

Едва ли на всей земле можно сыскать страну прелестнее того маленького княжества, где находилось поместье барона Претекстатуса фон Мондшейн и где

обитала фрейлейн фон Розеншен, – одним словом, где случилось все то, о чем я, любезный читатель, как раз собираюсь рассказать тебе более пространно.

Окруженная горными хребтами, эта маленькая страна, с ее зелеными, благоухающими рощами, цветущими лугами, шумливыми потоками и весело журчащими родниками, уподоблялась – а особенно потому, что в ней вовсе не было городов, а лишь приветливые деревеньки да кое–где одинокие замки, – дивному, прекрасному саду, обитатели коего словно прогуливались в нем для собственной утехы, не ведая о тягостном бремене жизни. Всякий знал, что страной этой правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что, в числе других, там поселились и прекрасные феи доброго племени, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу. Их присутствию и можно было приписать, что почти в каждой деревне, а особенно в лесах, частенько совершались приятнейшие чудеса и что всякий плененный восторгом и блаженством вполне уверовал во все чудесное и, сам того не ведая, как раз по этой причине был веселым, а следовательно, и хорошим гражданином. Добрые феи, живя по своей воле, расположились совсем как в Джиннистане и охотно даровали бы превосходному Деметрию вечную жизнь. Но это не было в их власти. Деметрий умер, и ему наследовал юный Пафнутий.

Еще при жизни своего царственного родителя Пафнутий был втайне снедаем скорбью, оттого что, по его мнению, страна и народ были оставлены в столь ужасном небрежении. Он решил править и тотчас по вступлении на престол поставил первым министром государства своего камердинера Андруса, который, когда Пафнутий однажды забыл кошелек на постоялом дворе за горами, одолжил ему шесть дукатов и тем выручил из большой беды. "Я хочу править, любезный!" – крикнул ему Пафнутий. Андрус прочел во взоре своего повелителя, что творилось у него на душе, припал к его стопам и со всей торжественностью произнес:

– Государь, пробил великий час! Вашим промыслом в сиянии утра встает царство из ночного хаоса! Государь, вас молит верный вассал, тысячи голосов бедного злосчастного народа заключены в его груди и горле! Государь, введите просвещение!

Пафнутий почувствовал немалое потрясение от возвышенных мыслей своего министра. Он поднял его, стремительно прижал к груди и,

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

рыдая, молвил:

– Министр Андрес, я обязан тебе шестью дукатами, – более того – моим счастьем, моим государством, о верный, разумный слуга!

Пафнутий вознамерился тотчас распорядиться отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего часа введено просвещение и каждому вменяется впредь с тем сообразовываться.

– Преславный государь, – воскликнул меж тем Андрес, – преславный государь, так дело не делается!

– А как же оно делается, любезный? – спросил Пафнутий, ухватил министра за петлицу и повлек его в кабинет, замкнув за собою двери.

– Видите ли, – начал Андрес, усевшись на маленьком табурете насупротив своего князя, – видите ли, всемилостивый господин, действие вашего княжеского эдикта о просвещении наисквернейшим образом может расстроиться, когда мы не соединим его с некими мерами, кои, хотя и кажутся суровыми, однако ж повелеваемы благоразумием. Прежде чем мы приступим к просвещению, то есть прикажем вырубить леса, сделать реку судоходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссейные дороги и привить оспу, – прежде надлежит изгнать из государства всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу разума и совращают народ на различные дурачества. Преславный князь, вы читали "Тысяча и одну ночь", ибо, я знаю, ваш светлейший, блаженной памяти господин папаша – да ниспошлет ему небо нерушимый сон в могиле! – любил подобные гибельные книги и давал их вам в руки, когда вы еще скакали верхом на палочке и поедали золоченые пряники. Ну вот, из этой совершенно конфузной книги вы, всемилостивейший господин, должно быть, знаете про так называемых фей, однако вы, верно, и не догадываетесь, что некоторые из числа сих опасных особ поселились в вашей собственной любезной стране, здесь, близехонько от вашего дворца, и творят всяческие бесчинства.

– Как? Что ты сказал, Андрес? Министр! Феи – здесь, в моей стране! – восклицал князь, побледнев и откинувшись на спинку кресла.

– Мы можем быть спокойны, мой милостивый повелитель, – продолжал Андрес, – мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против этих врагов просвещения. Да! Врагами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив добротой вашего блаженной памяти господина папаша, повинны в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной тьме. Они упражняются в опасном ремесле – чудесах – и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещения. Далее, у них столь несносные, противные полицейскому уставу обыкновения, что уже в силу одного этого они не могут быть терпимы ни в одном просвещенном государстве. Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, буде им это вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони. Ну вот, милостивейший повелитель, я и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров? А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение, – всех фей гнать! Их дворцы оцепит полиция, у них конфискуют все опасное имущество и, как бродяг, спровадят на родину, в маленькую страну Джиннистан, которая вам, милостивейший повелитель, вероятно, знакома по "Тысяча и одной ночи".

– А ходит туда почта, Андрес? – справился князь.

– Пока что нет, – отвечал Андрес, – но, может статься, после введения просвещения полезно будет учредить каждодневную почту и в эту страну.

– Однако, Андрес, – продолжал князь, – не почтут ли меры, принятые нами против фей, жестокими? Не возропщет ли полоненный ими народ?

– И на сей случай, – сказал Андрес, – и на сей случай располагаю я средством. Мы, милостивейший повелитель, не всех фей спровадим в Джиннистан, некоторых оставим в нашей стране, однако ж не только лишим их всякой возможности вредить просвещению, но и употребим все нужные для того средства, чтобы превратить их в полезных граждан просвещенного государства. Не пожелают они вступить в благонадежный брак, – пусть под строгим присмотром упражняются в каком-нибудь полезном ремесле, вяжут чулки для армии, если случится война, или делают что-нибудь другое. Примите во внимание, милостивейший повелитель, что люди, когда среди них будут жить феи, весьма скоро перестанут в них верить, а это ведь лучше всего. И всякий ропот смолкнет сам собой. А что до утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую казну; голуби и лебеди как превосходное жаркое пойдут на княжескую кухню; крылатых коней также можно для опыта приручить и сделать полезными тварями, обрезав им крылья и давая им корм в стойлах; а кормление в стойлах мы введем вместе с просвещением.

Пафнутий остался несказанно доволен предложениями своего министра, и уже на другой день было выполнено все, о чем они порешили. На всех углах красовался эдикт о введении просвещения, и в то же время полиция вламывалась во дворцы фей, накладывала арест на все имущество и уводила их под конвоем.

Только небу ведомо, как случилось, что фея Розабельверде, за несколько часов до того как разразилось просвещение, одна из всех обо всем узнала и успела выпустить на свободу своих лебедей и припрятать свои магические розовые кусты и другие драгоценности. Она также знала, что ее решено было оставить в стране, чему она, хотя и против воли, повиновалась.

Меж тем ни Пафнутий, ни Андрес не могли постичь, почему феи, коих транспортировали в Джиннистан, выражали столь чрезмерную радость и непрестанно уверяли, что они нимало не печалятся обо всем том имуществе, которое они принуждены оставить.

– В конце концов, – сказал, прогневавшись, Пафнутий, – в конце концов выходит, что Джиннистан более привлекательная страна, чем мое княжество, и они подымут меня на смех вместе с моим эдиктом и моим просвещением, которое теперь только и должно расцвести.

Придворный географ вместе с историком должны были представить обстоятельные сообщения об этой стране.

Они оба согласились на том, что Джиннистан – прежалкая страна, без культуры, просвещения, учености, акаций и прививки оспы, и даже, по правде говоря, вовсе не существует. А ведь ни для человека, ни для целой страны не может приключиться ничего худшего, как не существовать вовсе.

Пафнутий почувствовал себя успокоенным.

Когда прекрасная цветущая роща, где стоял покинутый дворец феи Розабельверде, была вырублена и в близлежащей деревне Пафнутий, дабы подать пример, самолично привил всем крестьянским увальням оспу, фея подстерегла князя в лесу, через который он вместе с министром Андресом возвращался в свой замок. Тут она искусными речами, в особенности же некоторыми зловещими кунштюками, которые она утаила от полиции, загнала князя в тупик, так что он, заклиная небом, молил ее довольствоваться местом в единственном, а следовательно, и самом лучшем по всем государстве приюте для благородных девиц, где она, невзирая на эдикт о просвещении, могла хозяйничать и управлять по своему усмотрению.

Фея Розабельверде приняла предложение и, таким образом, попала в приют для благородных девиц, где она, как о том уже было сказано, назвалась фрейлейн фон Розенгрюншен, а потом, по неотступной просьбе барона Претекстатуса фон Мондшейна, фрейлейн фон Розеншен.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О не известном народе, что открыл ученый Птоломей Филадельфус во время своего путешествия. - Университет в Керепесе. - Как в голову студента Фабиана полетели ботфорты и как профессор Мош Терпин пригласил студента Бальтазара на чашку чая.

В приятельских письмах, которые прославленный ученый Птоломей Филадельфус, будучи в далеком путешествии, писал другу своему Руфину, находится следующее замечательное место: "Ты знаешь, любезный Руфин, что я ничего на свете так не боюсь и не избегаю, как палящих лучей солнца, кои скупают все силы моего тела и столь ослабляют и утомляют дух мой, что все мои мысли сливаются в некий смутный образ, и я напрасно тшусь уловить умственным взором что-либо отчетливое. Оттого я имею обыкновение в эту жаркую пору отдыхать днем, а ночью продолжаю свое странствование. Так и прошедшей ночью я был в пути. В непроглядной тьме мой возница сбился с настоящей удобной дороги и нечаянно выехал на шоссе. Несмотря на то что жестокие толчки бросали меня из стороны в сторону и покрытая шишками голова моя была весьма схожа с мешком грецких орехов, я пробудился от глубокого сна не раньше, чем когда ужасный толчок выбросил меня из кареты на жесткую землю. Солнце ярко светило мне в лицо, а за слагбаумом, что был прямо передо мною, я увидел высокие башни большого города. Возница горько сетовал, что о большой камень, лежавший посреди дороги, разбилось не только дышло, но и заднее колесо кареты, и, казалось, весьма мало, а то и вовсе не печалился обо мне. Я, как и подобает мудрецу, сдержал свой гнев и лишь с кротостью крикнул парню, что он, проклятый бездельник, мог бы взять в толк, что Птоломей Филадельфус, прославленный ученый своего времени, сидит на задн..., и оставить дышло дышлом, а колесо колесом. Тебе, любезный Руфин, известно, какой властью над человеческими сердцами я обладаю. И вот возница во мгновение ока перестал сетовать и с помощью шоссейного сборщика, перед домиком которого стряслась беда, поставил меня на ноги. По счастью, я нигде особенно не зашибся и был в

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

силах тихонечко побрести дальше, меж тем как возница с трудом тащил за мной поломанную карету. Неподалеку от ворот завиденного мною в синееющей дали города мне повстречалось множество людей столь диковинного обличья и в столь странных одеждах, что я принялся тереть глаза, дабы удостовериться, впрямь ли я бодрствую, или, быть может, сумбурный дразнящий сон перенес меня в неведомую сказочную страну. Эти люди, коих я по праву мог считать жителями города, из ворот которого они выходили, носили длинные, широленные штаны, на манер японских, из драгоценнейших тканей – бархата, манчестера, тонкого сукна, а то и холста, пестро расшитого галунами, красивыми лентами и шнурками, и куцы, едва прикрывающие живот детские курточки, по большей части светлых тонов; только немногие были в черном. Нечесанные волосы в естественном беспорядке спадали на плечи и спину, а на голове у каждого была нахлобучена маленькая странного вида шапочка. У иных шеи были совершенно открыты, как у турок и нынешних греков, другие, напротив, носили вокруг шеи и на груди куски белого полотна, довольно схожие с теми воротниками, что тебе, любезный Руфин, доводилось видеть на портретах наших предков. Несмотря на то что все эти люди казались весьма молодыми, голоса у них были низкие и грубые, движения отличались неловкостью; у некоторых под самым носом лежала узкая тень, словно бы от усов. У иных сзади из курточек торчали длинные трубки, на которых болтались большие шелковые кисти. Другие же повытаскивали трубки из карманов и приладили к ним снизу маленькие, средние, а то и весьма большие диковинной формы головки и с немалой ловкостью, поддувая сверху в тоненькую, все более сужающуюся на конце трубку, пускали искусные клубы дыма. Некоторые держали в руках широкие сверкающие мечи, словно шли навстречу неприятелю; у иных были пристегнуты пряжками к спине или навешаны по бокам маленькие кожаные и жестяные коробочки. Вообрази себе, любезный Руфин, как я, стремясь обогатить свои познания прилежным наблюдением всякого нового для меня феномена, остановился и вперил взор свой в этих странных людей. Тут они окружили меня, крича во все горло: "Филистер, филистер!" – и разразились ужаснейшим смехом. Это меня раздосадовало. Ибо, дражайший Руфин, может ли быть для великого ученого что-либо обиднее, чем сопричисление к народу, который за несколько тысяч лет перед тем был побит ослиной челюстью? Я взял себя в руки и с присущим мне достоинством громко объявил собравшемуся вокруг меня странному люду, что я, следует надеяться, нахожусь в цивилизованном государстве и потому обращаюсь в полицию и в суд, дабы отплатить за нанесенную мне обиду. Тут все они подняли рев; к тому же и те, что доселе еще не дымили, повытаскивали из карманов назначенные для того машины, и все принялись пускать мне в лицо густые клубы дыма, который, как я только теперь приметил, вонял совсем невыносимо и оглушал мои чувства. Затем они изрекли надо мной своего рода проклятие, столь мерзкое, что я, любезный Руфин, не хочу его тебе повторять. Я и сам вспоминаю о нем с невыразимым ужасом. Наконец они покинули меня с громким оскорбительным смехом, и мне почудилось, будто в воздухе замирает слово: "Арапник!" Возница мой, все слышавший и видевший, сказал, ломая руки:

– Ах, дорогой господин, коли уж произошло то, что случилось, то, бога ради, не входите в этот город. С вами, как говорится, ни одна собака знаться не будет, и вы будете в беспрестанной опасности подвергнуться побо...

Я не дал честному малому договорить и с возможной поспешностью обратил стопы свои к ближайшей деревне. В одинокой комнатухе единственного во всей деревеньке постоянного двора сижу и пишу все это тебе, дражайший Руфин! Насколько будет возможно, я соберу известия об этом неведомом варварском народе, населяющем здешний город. Мне уже порассказали кое-что весьма странное о его нравах, обычаях, языке и прочем, и я в точности сообщу тебе обо всем... и т.д. и т.д.."

О мой любезный читатель, ты уже приметил, что можно быть великим ученым и не знать обыкновеннейших явлений и по поводу всему свету известных вещей предаваться диковинным мечтаниям. Птоломей Филадельфус упражнялся в науках и даже не знал о студентах, описывая своему другу происшествие, которое в голове его превратилось в редкостное приключение, он даже не знал, что находится в деревне Хох-Якобсхейм, расположенной, как известно, неподалеку от прославленного Керепесского университета. Добряк Птоломей перепугался, повстречавшись со студентами, которые радостно и беспечно прогуливались для собственного удовольствия за городом. Какой бы страх обуял его, когда бы он часом раньше прибыл в Керепес и случай привел бы его к дому профессора естественных наук Моша Терпина. Сотни студентов, хлынув из дома, окружили бы его, шумно диспутируя, и от этого волнения, от этой суеты его ум смутили бы еще более диковинные мечтания.

Лекции Моша Терпина посещались в Керепесе чаще всего. Он был, как о том уже сказано, профессором естественных наук: он объяснял, отчего происходят дождь, гром, молния, отчего солнце светит днем, а месяц ночью, как и отчего растет трава и прочее, да так, что всякое дитя могло бы это уразуметь. Он заключил всю природу в маленький изящный компендиум, так что всегда мог с удобством ею пользоваться и на всякий вопрос извлечь ответ, как из выдвижного ящика. Начало его славе положило удачно выведенное им после многочисленных физических опытов заключение, что темнота происходит преимущественно от недостатка света. Это открытие, равно как и его умение с немалой ловкостью обращать помянутые физические опыты в очаровательные кунштики и показывать весьма занимательные фокусы, доставило ему неимоверное множество слушателей. Дозволь мне, благосклонный читатель, ибо ты знаешь студентов много лучше, чем прославленный ученый Птоломей Филадельфус, и тебе незнакома его сумасбродная боязливость, свести тебя в Керепес к дому профессора Моша Терпина как раз в то время, когда он окончил лекцию. Один из вышедших студентов тотчас же пленяет твое внимание. Ты видишь стройного юношу лет двадцати трех или четырех; темные сверкающие глаза его красноречиво говорят о живом и ясном уме. Почти дерзким можно было бы назвать его взгляд, если бы мечтательная грусть, разлитая на бледном лице, не застилала, словно дымкой, жгучих лучей его глаз. Его сюртук черного тонкого сукна, отделанный разрезным бархатом, был сшит почти что на старонемецкий лад, к чему весьма шел нарядный, ослепительно-белый кружевной воротник и бархатный берет, покрывавший его красивые темно-каштановые волосы.

Это одевание потому так шло к нему, что он сам всем существом своим, пристойной поступью и осанкой, серьезным выражением лица, казался, действительно принадлежал к прекрасному благочестивому стародавнему времени, а поэтому и не наводил на мысль о жеманстве, которое столь часто выказывает себя в мелочном подражании худо понятым образцам в столь же худо понятых притязаниях нашего времени. Этот молодой человек, который с первого взгляда так полюбился тебе, дорогой читатель, не кто иной, как студент Бальтазар, сын достойных и зажиточных родителей, юноша скромный, рассудительный, прилежный, о ком я, мой читатель, намереваюсь немало порассказать тебе в этой весьма примечательной истории.

Серьезен, по своему обыкновению, погружен в думы, шел Бальтазар с лекции Моша Терпина к городским воротам, собираясь вместо фехтовальной залы посетить прелестную рощицу, находящуюся в нескольких сотнях шагов от Керепеса. Друг его Фабиан, красивый малый, веселый с виду и такой же нравом, побежал за ним следом и настиг у самых ворот.

– Бальтазар! – громко закричал Фабиан. – Бальтазар, опять ты собрался в лес бродить в одиночестве, подобно меланхолическому филистеру, меж тем как добрые бурши прилежно упражняются в благородном искусстве фехтования. Прошу тебя, оставь свои нелепые дурачества, от которых нас всех берет оторопь, и будь по-прежнему бодр и весел. Пойдем переведаемся на рапирах, а если тебя потом потянет прогуляться, так я охотно пойду с тобой.

– Побуждения у тебя хорошие, – возразил Бальтазар, – и потому я не хочу вступать с тобой в перепалку из-за того, что ты, словно одержимый, гоняешься за мной по пятам и часто лишаешь меня наслаждений, о которых не имеешь никакого понятия. Ты как раз принадлежишь к тем странным людям, которые всякого, кто любит бродить в одиночестве, считают меланхоличным дурнем и хотят на свой лад его образумить и вылечить, подобно тому лукавому царедворцу, что пытался исцелить достойного принца Гамлета, а принц хорошенько проучил его, когда тот объявил, что не умеет играть на флейте. Правда, от этого, любезный Фабиан, я тебя избавлю, однако ж я тебя сердечно прошу – поищи себе другого товарища для благородных упражнений на рапирах и эспадронах и оставь меня в покое.

– Нет, нет! – воскликнул со смехом Фабиан. – Так просто ты от меня не отделаешься, дорогой друг! Не хочешь пойти со мной в фехтовальную залу, так я отправлюсь с тобой в рощу. Долг верного друга – развеселить тебя в печали. Ну, идем, любезный Бальтазар, идем, коли уж ты ничего другого не желаешь. – Сказав это и подхватив друга под руку, он бодро зашагал с ним рядом. Бальтазар стиснул зубы, затаив досаду, и затворился в угрюмом молчании, тогда как Фабиан без умолку рассказывал всевозможные веселые истории. Сюда замешался и всякий вздор, как то частенько случается, коли без умолку рассказывают что-нибудь веселое.

Когда наконец они вступили в прохладную сень благоухающей рощи, когда зашептали кусты, словно обмениваясь нетерпеливыми вздохами, когда вдалеке зазвучали чудесные мелодии журчащих ручьев и пение лесных птиц пробудило эхо в горах, – Бальтазар внезапно остановился, широко распростер руки, словно собирался нежно обнять кусты и деревья, и воскликнул:

– О, теперь мне снова хорошо, несказанно хорошо!

Фабиан с некоторым замешательством поглядел на своего друга, словно человек, который не понял, о чем идет речь, и не знает, как ему поступить. Тут Бальтазар схватил его за руку и воскликнул, полон восторга:

– Не правда ли, брат, и твое сердце раскрылось и ты постигаешь блаженную тайну лесного уединения?

– Я не совсем понимаю тебя, любезный брат, – отвечал Фабиан, – но ежели ты полагаешь, что прогулка в лесу оказывает на тебя благотворное действие, то я с таким мнением совершенно согласен. Разве я сам не охотник до прогулок, особенно в доброй компании, когда можно вести разумную и поучительную беседу? К примеру, истинное удовольствие гулять за городом с нашим профессором Мошем Терпином. Он знает каждое растение, каждую былинку и скажет, как она называется и к какому виду принадлежит, и притом он рассуждает о ветре и о погоде...

– Остановись, – вскричал Бальтазар, – прошу тебя, остановись! Ты упомянул о том, что могло бы привести меня в бешенство, если бы у меня

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

не было некоторого утешения. Манера профессора рассуждать о природе разрывает мне сердце. Или, лучше сказать, меня охватывает зловещий ужас, словно я вижу умалишенного, который в шутовском безумии мнит себя королем и повелителем и ласкает сделанную им же самим соломенную куклу, воображая, что обнимает свою царственную невесту. Его так называемые опыты представляются мне отвратительным глумлением над божественным существом, дыхание которого обвеивает нас в природе, возбуждая в сокровенной глубине нашей души священные предчувствия. Нередко меня берет охота переколотить его склянки и колбы, разнести всю его лавочку, когда б меня не удерживала мысль, что обезьяна все равно не отстанет от игры с огнем, пока не обожжет себе лапы. Вот, Фабиан, какие чувства тревожат меня, отчего сжимается мое сердце на лекциях Моша Терпина, – и тогда вам кажется, что я стал еще более задумчив и нелюдим. Мне словно чудится, что дома готовы обрушиться на мою голову, неописуемый страх гонит меня из города. Но здесь, здесь мою душу посещает сладостный покой. Лежа на траве, усеянной цветами, я всматриваюсь в беспредельную синеву неба, и надо мной, над ликующим лесом тянутся золотые облака, словно чудесные сны из далекого мира, полного блаженной отрады! О Фабиан, тогда и в собственной моей груди рождается какой-то дивный гений, я внимаю, как он ведет таинственные речи с кустами, деревьями, струями лесного ручья, и я не в силах передать тебе, какое блаженство наполняет все мое существо сладостно-тоскливым трепетом.

– Ну вот, – воскликнул Фабиан, – ну вот опять ты завел старую песню о тоске и блаженстве, говорящих деревьях и лесных ручьях. Все твои стихи изобилуют этими приятными предметами, что весьма сносны для слуха и могут быть употреблены с пользой, если не искать тут чего-нибудь большего. Но скажи мне, мой превосходный меланхолик, ежели лекции Моша Терпина столь ужасно оскорбляют тебя и сердят, то скажи мне, чего ради ты на них таскаешься, ни одной не пропустишь, хотя, правда, всякий раз сидишь безмолвный и оцепеневший и, закрыв глаза, словно грезишь?

– Не спрашивай, – отвечал Бальтазар, потупив очи, – не спрашивай меня об этом, любезный друг. Неведомая сила влечет меня каждое утро к дому Моша Терпина. Я наперед знаю свои муки и все же не в силах противиться. Темный рок гонит меня!

– Ха-ха! – громко рассмеялся Фабиан, – ха-ха-ха! Как тонко, как поэтично, какая мистика! Неведомая сила, что влечет тебя к дому Моша Терпина, заключена в темно-голубых глазах прекрасной Кандиды. То, что ты по уши влюблен в хорошенькую дочку профессора, всем нам давно известно, а потому мы и извиняем все твои бредни и дурацкое поведение. С влюбленными уж всегда так. Ты находишься в первом периоде любовного недуга, и тебе придется на исходе юности проделать все те нелепые дурачества, с которыми мы, я и многие другие, слава богу, покончили еще в школе, не привлекая большого числа зрителей. Но поверь мне, душа моя...

Фабиан снова взял под руку своего друга и быстро зашагал с ним дальше. Они только что вышли из чащи на широкую дорогу, пролежавшую через лес. Вдруг Фабиан завидел вдалеке мчавшуюся на них в облаке пыли лошадь без седока.

– Эй-эй! – воскликнул он, прерывая свою речь. – Эй, глянь, да, никак, проклятая кляча удрала, сбросив седока... Надобно ее поймать, а потом поискать в лесу и всадника. – С этими словами он стал посреди дороги.

Лошадь все приближалась, и можно было заметить, что по бокам ее как будто болтаются ботфорты, а на седле копошится и шевелится что-то черное. Вдруг под самым носом Фабиана раздалось протяжное, пронзительное: "Тпрру! Тпрру!" – и в тот же миг над головой его пролетела пара ботфорт и какой-то странный маленький черный предмет прокатился у него между ногами. Огромная лошадь стала как вкопанная и, вытянув шею, обнюхивала своего крошечного хозяина, барахтавшегося в песке и наконец с трудом поднявшегося на ноги.

Голова малыша глубоко вросла в плечи, и весь он, с наростом на спине и груди, коротким туловищем и длинными паучьими ножками, напоминал насаженное на вилку яблоко, на котором вырезана диковинная рожица... Увидав это странное маленькое чудище, Фабиан разразился громким смехом. Но малыш досадливо надвинул на глаза берет, который только что поднял с земли, и, вперив в Фабиана злобный взгляд, спросил грубым и сиплым голосом:

– Это ли дорога в Керепес?

– Да, сударь, – благожелательно и серьезно ответил Бальтазар, подав подобранные им ботфорты малышу. Все старания натянуть их оказались напрасными. Малыш то и дело перекувыркивался и со стоном барахтался в песке. Бальтазар поставил ботфорты рядом, осторожно поднял малыша и столь же заботливо опустил его ножками в эти слишком тяжелые и широкие для него футляры. С гордым видом, уперши одну руку в бок, а другую приложив к берету, малыш воскликнул: "Gratias [благодарствую (лат.)], сударь!" – направился к лошади и взял ее под уздцы. Но все его попытки достать стремя и вскарабкаться на рослое животное оказались тщетными. Бальтазар все с той же серьезностью и благожелательством подошел к нему и посадил в стремя. Должно быть, малыш слишком сильно подскочил в седле, ибо в тот же миг слетел наземь по другую сторону.

– Не горячитесь так, милейший мусье! – вскричал Фабиан, снова залившись громким смехом.

– Черт – ваш милейший мусье! – вскричал, совсем озлившись, малыш, отряхивая песок с платья. – Я студиозус, а если и вы тоже, то сие называется вызов – этот шутовской ваш смех мне в лицо, и вы должны завтра в Керепесе со мной драться!

– Черт побери, – не переставая смеяться, вскричал Фабиан, – черт подери, да это отчаянный бурш, малый хоть куда, раз дело коснулось отваги и правил чести! – С этими словами Фабиан поднял малыша и, невзирая на то что он отчаянно артачился и отбрыкивался, посадил его на лошадь, которая с веселым ржанием тотчас же умчалась, унося своего господина. Фабиан держался за бока – он помирал со смеху.

– Бессердечно, – сказал Бальтазар, – глумиться над человеком, которого так жестоко, как этого крохотного всадника, обидела природа. Если он взаправду студент, то ты должен с ним драться, и притом, хотя это и против всех академических обычаев, на пистолетах, ибо владеть рапирой или эспадроном он не может.

– Как сурово, – отозвался Фабиан, – как серьезно, как мрачно ты себе все представляешь, любезный друг мой Бальтазар. Мне никогда не приходило на ум глумиться над уродством. Но скажи, пожалуйста, пристало ли такому горбатому карапузу взгромождаться на лошадь, из-за шеи которой он едва выглядывает? Пристало ли ему влезать своими ножонками в такие чертовски широкие ботфорты? Пристало ли ему напяливать такую узехонькую курточку в обтяжку, со множеством шнурков, галунов и кистей, пристало ли ему носить такой затейливый бархатный берет? Пристало ли ему принимать столь высокомерный и надутый вид? Вымучивать такой варварский, сиплый голос? Пристало все это ему, спрашиваю я, и разве нельзя с полным правом поднять его на смех, как записного шута? Но мне надобно воротиться в город, я должен поглядеть, как этот рыцарственный студиозус въедет на своем гордом коне в Керепес и какая подымется там кутерьма! С тобой сегодня пива не сварить. Будь здоров! – И Фабиан во всю прыть побежал лесом в город.

Бальтазар свернул с проезжей дороги и углубился в самую чащу; там он присел на поросшую мохом кочку, горестные чувства объяли его и совсем завладели им. Быть может, он и взаправду любил прелестную Кандиду, но он схоронил эту любовь в своем сердце, скрывая ее от всех, даже от самого себя, как глубокую, нежную тайну. И когда Фабиан без обиняков с таким легкомыслием заговорил об этом, Бальтазар почувствовал себя так, словно грубые руки с кощунственной дерзостью срывают с изображения святой покрывало, которого он не смел коснуться, словно теперь он сам навеки прогневал святую. Да, слова Фабиана казались ему мерзким надругательством над всем его существом, над самыми сладостными его грезами.

– Итак, – воскликнул он в безмерной досаде, – итак, Фабиан, ты принимаешь меня за влюбленного олуха, за простака, который таскается на лекции Моша Терпина, чтобы хоть часок провести под одной кровлей с прекрасной Кандидой; который в одиночестве бродит по лесу, чтобы, сложив в уме прескверные стихи к возлюбленной, потом записать их, отчего они станут еще более жалкими; который губит деревья, вырезывая на гладкой коре глупые вензеля, а при возлюбленной и слова разумного вымолвить не может, только стонет, да вздыхает, да строит плаксивые гримасы, словно у него корчи; который у себя на груди под рубашкой хранит увядшие цветы, что были некогда приколоты к ее платью, или перчатку, которую она обронила, – ну, словом, учиняет тысячи ребяческих дурачеств! И оттого, Фабиан, ты дразнишь меня, и оттого все бурши поднимают меня на смех, и оттого, быть может, и я и весь тот внутренний мир, что открылся мне, сделались предметом насмешек. И прелестная, милая, дивная Кандида...

Едва Бальтазар вымолвил это имя, как его сердце словно пронзило огненным кинжалом. Ах! какой-то внутренний голос явственно шептал ему в это мгновение, что ведь только ради Кандиды бывает он в доме Моша Терпина, что он сочиняет стихи к любимой, вырезывает на деревьях ее имя, что он немеет в ее присутствии, вздыхает, стонет, носит на груди увядшие цветы, которые она обронила, что он и в самом деле вдался во все дурачества, в каких только может упрекнуть его Фабиан. Только теперь он почувствовал, как несказанно любит прекрасную Кандиду и вместе с тем как причудливо чистойшая, сокровеннейшая любовь принимает во внешней жизни несколько шутовское обличье, что нужно приписать глубокой иронии, заложенной самой природой во все человеческие поступки. Должно быть, в том он был прав, но он был совсем неправ, что начал из-за этого сердиться. Грезы, прежде пленявшие его, рассеялись, лесные голоса звенели теперь насмешкой и укоризной. Он бросился назад в Керепес.

– Господин Бальтазар! Mon cher [дорогой мой (фр.)] Бальтазар! – окликнул его кто-то.

Он поднял глаза и остановился завороченный, ибо навстречу шел профессор Мош Терпин, ведя под руку дочь свою Кандиду. Кандида, со свойственной ей веселой и дружественной простотой, приветствовала застывшего как истукан студента.

– Бальтазар, mon cher Бальтазар! – вскричал профессор. – По правде, вы самый усердный и приятный мне слушатель! О мой дорогой, я заметил, вы любите природу со всеми ее чудесами так же, как и я, а я от нее без ума! Уж, верно, опять ботанизировали в нашей рощице?

Удалось найти что-нибудь поучительное? Что ж! давайте познакомимся покороче. Посетите меня – рад видеть вас во всякое время, можем

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

вместе делать опыты. Вы уже видели мой новый воздушный насос? Что же, mon cher, завтра вечером у меня дома состоится дружественный кружок, будем вкушать чай с бутербродами и веселить друг друга приятной беседой. Увеличьте сей кружок своей достойной особой. Вы познакомитесь с весьма привлекательным молодым человеком, коего мне рекомендовали наилучшим образом. Bon soir, mon cher! Добрый вечер, любезнейший: au revoir! До свиданья. Вы ведь завтра придете на лекцию? Ну, mon cher, adieu. – И, не дожидаясь ответа Бальтазара, профессор Мош Терпин удалился вместе со своей дочерью.

Ошеломленный Бальтазар не осмелился поднять глаза, но взоры Кандиды испепелили его грудь, он чувствовал ее дыхание, и сладостный трепет пронизывал все его существо.

Вся его досада прошла, полный восторга, смотрел он на удалявшуюся Кандиду, пока она не скрылась за листвой зеленой аллеи деревьев. Потом он медленно углубился в лес, чтобы предаться мечтам еще более сладостным, чем когда-либо.

[Читать дальше...](#)

Другие сказки Гофмана